

ЗИНАИДА ГИППИУС

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ДНЕВНИК

Зинаида Николаевна Гиппиус

Литературный дневник

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26110670

Аннотация

«Какая хорошая книга – «Деревня» Бунина. Строгая, тяжелая, гармоничная. Не роман: нет ни завязки, ни развязки, почти нет сюжета; книгу кто-то назвал «скучной», и это, пожалуй, правда; она скучна, тяжка, значительна и темна, она – сама «деревня» наша сегодняшняя. Язык так великолепно ровен, так спокойно-выразителен везде, что жаль вырывать цитаты: вся книга – одна цитата...»

Содержание

Зинаида Гиппиус

Литературный дневник

Какая хорошая книга – «Деревня» Бунина. Строгая, тяжелая, гармоничная. Не роман: нет ни завязки, ни развязки, почти нет сюжета; книгу кто-то назвал «скучной», и это, пожалуй, правда; она скучна, тяжка, значительна и темна, она – сама «деревня» наша сегодняшняя. Язык так великолепно ровен, так спокойно-выразителен везде, что жаль вырывать цитаты: вся книга – одна цитата.

Среди разнородно-тенденциозных выкриков о «деревне», среди современных книг, одинаково нехудожественных и «правого» и «левого» направления, книга Бунина – единственная настоящая, ей веришь просто, ибо она проста и свободна. Бунин не Чехов; в книге нет легкости и остроты чеховских «Мужиков», но и слава Богу. Не легка, не остра «деревня»; и не копьём подымает Бунин земляные пласты, а широкой лопатой; не чертит, не рисует, а долго, нудно, медленно рассказывает, показывает.

Два брата. Два типично умных, даровитых русских мужика, поистине русских в своей природной сложности, сплетения силы и бессилия. Идет жизнь. Братья расстаются, один как будто тянется к «культуре», соприкасается во всяком случае с «интеллигентством», пишет стихи, даже издает книжечку. Другой – занят деревенскими «делами», торговлей,

землей. И вот опять они вместе, опять деревня с ее земляной, снежной, тупой безвыходностью, грубым одиночеством. Равно не нужны оказываются и книги со стихами, и деловитая заботливость, – нужно, утешает еще, одно винное зелье. Братья – вовсе не «самородки», заеденные «средою»; нет, это обыкновенные, умные русские мужики, которые гибнут в «деревне», их же руками созданной и создаваемой. Порочный круг; ясно, что из него не найти выхода... усилиями отдельных людей, по крайней мере.

Книга Бунина дает серьезному читателю очень много. Художественно-бескорыстная, она, оставляя читателя свободным, приобщает его к проникновенному знанию автора. Никуда не толкает, не ведет, даже путей никаких не указывает. Если есть выходы и пути, их отыщет сам читатель. Это книга высшего целомудрия, художественного – и душевного, человеческого.

Казалось бы, вот младший брат ушел из деревни, попались ему люди неглупые, книги хорошие, сам не без способностей, – стихи ведь писал; что же это за слабняк, чего не держался, зачем опять в деревне, сидит в бессмысленном одиночестве, в снегу, больной, пользуется милостями, весьма небогатыми, полусумасшедшего брата, глядит на медленно ворочающееся, тупое колесо деревенской жизни? В самом деле, зачем? Ответа нет. Но твердо знаешь или, пожалуй, чувствуешь, что не личная слабость и не обстоятельства, тоже личные, здесь причиной; и отнюдь не выход – идти

мужику путаться по городам, издавая свои стихи. Для самого мужика, настоящего, талантливое мужика, это не выход; если, конечно, он не Ломоносов какой-нибудь; но тогда уже и надо говорить о Ломоносове, оставив всякую «деревню» в покое.

Да, герой Бунина (можно ли назвать его «героем?») вернулся в свое место, погибает среди родных снегов, а не на петербургских улицах, отказался от претензий на интеллигентную и литературную «славу»; и тут, кроме большого художественного такта, есть еще настоящая правда. Правда героя – и правда деревни.

В сложно изломанной современной жизни приходится все чаще наблюдать странную вещь: хождение народа в интеллигенцию. Отличий от старого хождения «интеллигенции в народ» очень много. Во-первых, то, старое «хождение» было худым ли, хорошим ли, но делом идейным и, по самой идее, коллективным, общим; во-вторых, оно совершалось с предпосылкой любви к народу. Нынче же «народ», каждый «представитель» его, идущий в интеллигенцию, идет ради себя и для себя, индивидуально, хотя не забывает, что он – «народ», твердит об этом кстати и некстати. Мало того – считает даже, что звание это дает какие-то права избранничества и затем право ненависти и презрения к злосчастной интеллигенции. Он хочет делать интеллигентское дело; что ж такое, что он его будет делать хуже интеллигента: зато он – «народ!». Наивно до трогательности (и старые грехи интел-

лигенции тут сказываются), однако нельзя же мириться с вопиющей нелепостью, коренной нелогичностью столь дикого явления. В литературе оно особенно ярко. Еще бы! Издали – именно литература кажется наиболее легким и пустым «интеллигентским» делом. Для всех других «дел», даже и для дел искусства, нужна длинная подготовка, большие труды; для литературы, для поэзии – милость Божия и собственная гениальность; а какой ныне представитель «народа», идущий в «интеллигенцию», сомневается в своей гениальности?

Не к чести этих многочисленных «представителей», имеющих на литературу такой странный взгляд, надо сказать, что и столкновение с действительностью не приводит их в себя. Неуспехи и горести они относят на счет злонравия той же интеллигенции. Я мог бы назвать много имен, но остановлюсь на характерной книжке М. Сивачева «Прокрустово ложе (Записки литературного Макара)», где сам автор, с последней наивностью, обнажает все претензии человека из «народа», идущего в интеллигенцию, в литературу, – удостоившего ее этой чести. Предисловие «обличительной» книги г. Сивачева, конечно, вертится на знаменитой «розни» между интеллигенцией и народом, на той «пропасти», через которую автор «шесть лет пытался перекинуть мост – и не мог», «шесть лет убил на это». И еще раз убедился, что «лучший цвет интеллигенции» – просто «банкроты духа».

Просмотрим же историю г. Сивачева, от которой он предлагает «настоящим людям» «содрогнуться».

Хотя по началу рассказа видно, что г. Сивачев вздумал заняться писанием благодаря нужде и неспособности к другому труду, – на дальнейших страницах уже много пишется о «святом искусстве», о душевном призвании и т. д. Но это пустое. Гораздо важнее и воистину поразительно у г. Сивачева полнейшее его непонимание реальной жизни и даже невнимание к ней, неспособность ни к какому обобщению, слепота ко всему, что не он сам. Слепота – и в слепоте ненависть. Скажут: голодному не до любви. Но голодному и не до рассуждений, его суждениям и осуждениям никто не обязан верить. Голодному всегда и везде плохо: в городе и в деревне, среди интеллигентов и среди мужиков. А над тем фактом, что есть вообще голодные, что можно голодать среди интеллигенции так же, как среди «народа», следовало бы г. Сивачеву задуматься поглубже, а не сваливать всю вину, с легкомысленной поспешностью, на интеллигенцию, на тех литераторов, к которым он явился с требованием «помочь до конца» и тем возложил самовольно жизнь свою на их ответственность.

Записки г. Сивачева идут от 1904 до 1907 года. Казалось бы, как в это именно время, живя в России и даже в Москве, не задуматься над вопросом о голоде вообще, о народе вообще, о чем-нибудь «вообще»? Ни малейшего отражения общей жизни нельзя найти в записках. Точно за эти годы несчастен, угнетен, холоден и голоден был один Сивачев. Не это ли простодушное невнимание ко всему окружающему дове-

ло его до последнего отчаяния? До криков, которые, благодаря искренности своей, возбуждают глубокое сострадание, глубокое, но бесплодное: ведь не поможешь все равно. Как и помочь человеку, который не видит ни жизни, ни других людей, требует от них сейчас того, чего они не могут дать. Если же они дают по мере сил (и не мало дают, например, свящ. Гр. Сп. П., отнесшийся к нему очень человечно, или М. Горький), г. Сивачев осыпает их проклятьями. Так отнесся он ко всем почти, кто ему помогал, и помогал воистину бескорыстно: из записок г. Сивачева не видно, чтобы за все время мытарств какое-либо его произведение было напечатано и даже кому-либо особенно понравилось в рукописи. Зато по «Запискам» же видно, что г. Сивачев не обладает ни литературным дарованием, ни просто литературными способностями.

Теперь, кажется, г. Сивачев устроился: книгоиздательство «Современные проблемы», выпустившее «Записки», обещает нам и «полное собрание сочинений» г. Сивачева. Нельзя не порадоваться за человека; ведь в последнем-то счете человек дороже литературы. Но я почти уверен, что если критика найдет «сочинения» плохими, г. Сивачев не задумается послать лишнее проклятие интеллигенции, не признающей «народа», еще раз объявит литераторов «банкротами духа». И вот это будет уж совсем нехорошо... для г. Сивачева и ему подобных, конечно.

Среди «представителей народа», идущих ныне в «прокля-

тый город», в «проклятую интеллигенцию» и, в частности, в литературу (куда еще идти? Не забудем, ведь для нее достаточно «милости Божьей»), есть и женщины. Такова, например, Надежда Санжарь. Вне чисто женских особенностей ее «творчества» (о них буду говорить ниже) – г-жа Санжарь очень напоминает Сивачева. Сивачевщина ведь не индивидуальна, а типична. Налицо и гордость своим происхождением, и вера в избранничество, и негодование, и проклятия интеллигенции. У г-жи Санжарь были, конечно, свои мытарства, имеются и свои «Записки». Правда, они не так прямы, как записки Сивачева, называются «Записками Анны» и в них, судя по предисловию, не одна автобиография, а «действительность сплетена с вымыслом». Но для нас это не имеет значения, тем более что автор предисловия к обеим книгам г-жи Санжарь (есть еще книга «Заколдованная принцесса») сам то и дело подчеркивает автобиографичность «Записок» и даже «Заколдованную принцессу» называет той же Анной или Надеждой Санжарь.

В чисто художественном отношении г-жу Санжарь придется поставить если не ниже, то рядом с М. Сивачевым. Предисловие издателя, рекомендующего нам г-жу Санжарь как «существо, упавшее на землю с другой планеты, на котором еще видимы простым глазом клочья облаков, прорванных при падении» (sic!), – заранее говорят нам, что от книги нечего ждать. Сивачев счастливее: у него нет таких «услужливых друзей»; или чувства меры у него все-таки больше, и

он не позволил издателям объяснять, «кровью» или не кровью написана предлагаемая «потрясающая» книга.

Нет, все-таки требование Сивачевых и Санжарей довольно возмутительно. Мы, читатели, не только не обязаны, но определенно не хотим ни «потрясаться», ни «содрогаться» от плохих книг, хотя бы эти книги были «о жизни»; мы перед самой жизнью содрогаемся... или не содрогаемся, это уж личное дело каждого, а скверная книга, претендующая одновременно и на действительность, и на художественное творчество, да еще кричащая о нашей неморальности, – такая книга по справедливости может только возмутить.

Человек дороже литературы, да; но ведь стоит же чего-нибудь и литература. Г-жа Санжарь пишет: «Факт несомненный: у меня оказался своеобразный литературный талант. Это признали, за него мне хорошо платят». Она даже «инстинктивно тянется к небу, моля его: Помоги, чтобы я смогла выдержать свалившийся на меня талант».

Г-жа Санжарь, как женщина, еще увереннее и стремительнее Сивачева. В конце концов она не одну интеллигенцию проклинает: «Я, как безумная, искала человека. Пол был для меня безразличен». «Мне надо было человека, я задыхалась от лжи, косности, подлости жизни, примириться с которой не могла». «Я металась, стонала, кричала о своей тоске по человеку...» Вскоре, однако, пол стал для нее не безразличен: «я стала искать мужчину...» «О, мои поиски мужчины-человека были не менее поучительны и красноречивы, как и

поиски человека вообще». («Не менее – как...» По-русски ли это?)

Издатель в предисловии объясняет, что г-жа Надежда Санжарь вообще не может не кричать. Но чем же литература виновата? Ах, если б героиня г-жи Санжарь нашла нужного мужчину, ах, если б успокоить, накормить и пригреть Сивачева! В том-то и дело, что здесь впереди стоит вопрос не литературный и даже не моральный, как думает г. Сивачев, а просто-напросто социальный.

Характерно отличие современных «представителей народа», идущих в интеллигенцию, от старых, вечных Ломоносовых; оно в том, что прежние Ломоносовы, удачные и неудачные, были томимы «жаждой просвещения», шли учиться; таково нормальное, естественное, всегда существующее, движение снизу вверх. Но не то мы наблюдаем у всевозможных Пименов Карповых, Сивачевых, Санжарей и т. п. Не учиться они идут, а учить. В предисловии к сочинению г. Санжарь ясно говорится: «Дочь народа, выражаясь аллегорически, а по паспорту крестьянка, невежественная, она не только по-своему „учит“, но и зовет куда-то... учит и зовет не своего брата-недоучек, а лучших представителей интеллигенции, на манер „Вех“» «Записки явились своего рода бичом».

Не признак ли это дикости, ненормального состояния... отнюдь не интеллигенции, а всей России, не симптом ли коренного какого-то культурного извращения? Но пусть подумают тут социологи, я же пока вернусь к вопросам литера-

турным.

Типично женские свойства писаний г-жи Санжарь, – вне ее личной истерики и личной недаровитости, – невольно заставили меня вспомнить несколько других образцов современного женского «творчества». По правде сказать, женский роман менее всего бывает «современен», он вечен, и если я сейчас беру «Marie Claire»¹, «Гнев Диониса» и «Vagabonde»², то лишь потому, что эти романы вышли недавно в свет.

Кто не знает, что в сущности всякая женщина может написать одну хорошую книгу, – книгу своей жизни? Эта общеизвестная истина постоянно подтверждается. Благодаря способности глубоко чувствовать свою жизнь, свою любовь, и безраздельно ею интересоваться, женщина может и рассказать о ней особенно искренно, точно. А первая, долитературная, свежесть языка, в простоте своей часто соприкасается с высшей простотой искусства, перешедшего все ступени сложности. И женский роман может быть органичным, живым и прекрасным, как цветок. Нашумевший французский роман «Marie Claire». именно таков. Маргарита Оду – простая женщина, тоже «из народа»; страдала она, конечно, не меньше, чем г-жа Санжарь; но благородная, тихая душа спасла ее и дала ей возможность создать свою, женскую, душевную книгу. Не хочется судить ее, не хочется разбирать, точ-

¹ «Мари Клэр» (фр.).

² «Бродяга» (фр.)

но ли это «искусство». Рассказ идет, как будто узкий светлый ручеек журчит по камням. Роман не кончен, то есть описание доведено лишь до приезда героини в Париж. М. Оду будет, конечно, продолжать описание и, конечно, так же хорошо, – ведь это все один и тот же роман, одна и та же своя жизнь, своя история. И почему-то мне кажется, что душевный такт М. Оду охранит ее от попыток писать какие-нибудь другие романы, от литературствования. Слишком художественна для этого сама ее душа.

Большую же частью случается так: после первой удачной (единственной) книги, женщина увлекается, начинает писать дальше, уже с намерением «творить». И в результате – ряд слабых... не творений, а повторений; напрасные усилия вымысла; а свежесть языка, между тем, изменяет, – свежесть неповторима. Последняя книга французской писательницы Colette Willy «La Vagabonde»³ – длинная, вялая, уже не в первый раз написанная история женской жизни, все та же история все той же героини, нестерпимо скучная для постороннего, – для читателя. Автор скуки не замечает, героиня, конечно, близка его сердцу. Роман написан с привычкой к языку, но бледно-бледно и не оставляет никакого впечатления.

История женщины в книге г-жи Нагродской «Гнев Диониса» – интереснее, если мы исключим длинные и довольно неожиданные рассуждения автора на счет «двуполости», выводы неудачно привязанные к роману и детски формулиро-

³ «Бродяжка» (фр.).

ванные. Налицо знакомая непосредственная свежесть языка, заставляющая забывать, что тут еще нет «искусства». Но достаточно взглянуть на другую книжку – сборник рассказов той же Нагродской, – чтобы понять, в чем дело. Эти рассказы – не средняя и не плохая литература, они – не литература вовсе. Упражнение неопытной гимназистки на ею же изданные, однообразные темы.

О женском творчестве много бы еще можно сказать, но лучше я возвращусь к нему когда-нибудь на досуге; теперь в заключение мне хочется упомянуть об одной очень хорошей книге, но своему хорошей, ничуть не похожей на «Деревню» Бунина. Это – «Узор чугунный» Бориса Садовского (К-во Альциона).

Не могу сказать, чтобы я был вообще поклонником писателя: в критических работах своих он особенно узок, подчас неловок, а спорен всегда; но как раз эта узость придает очарование его рассказам, собранным в книжке. Все рассказы – стилизация начала XIX в., притом стилизация такая любовная, с таким приникновением к эпохе, что уже ничего, кроме данного, от автора и требовать не хочется, – ни сюжета, ни личного творчества. Лучшие рассказы – те, где автора почти совсем не видно. Например, «Из бумаг князя Г.». Это даже не рассказ, это собрание писем, отрывков, документов, – им просто хочется верить, как подлинным. Гораздо слабее «Петербургская ворожея». Фигура Пушкина сделана не без банальности; вообще известные исторические лица... не то что

не удаются автору, а не удается ему осветить их с особой, новой стороны. Зато от какого-нибудь «письма кузины» пахнет остро, забыто, мило, – словно из раскрытой бабушкиной шкатулки.

Издана книжка тоже с большой любовью. Украшения «Емвелем и Символом» (изд. 1811 г.) идут к ней удивительно.

Среди последних книг, толстых и тонких, безграмотных и грамотных, детищ всяких «Антеев», вплоть до «Порывов» (есть и такое издательство), – «Узор чугунный» – точно кусок драгоценной материи в куче грязных ситцевых тряпок. Он дает тихое отдохновение и невинную, праведную отраду.